



## АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

### Начало века

#### Глава III

#### РАЗНОВОЙ. «АЯКСЫ» (1930—1933)

Я встретился с тройкой студентов: с Владимиром Эрном, оставленным при университете при профессоре Трубецком<sup>1</sup>, с Валентином Свенцицким<sup>2</sup>, еще студентом-филологом, и с Павлом Флоренским, кончающим математический факультет, учеником Лахтина<sup>3</sup> и слушающим лекции отца, обнаружившим уже ярко способности, даже талант в математике.

Они явились ко мне.

И белясый, дубовый и дылдистый Владимир Францевич Эрн<sup>4</sup> недоверчиво закосился сразу же на меня простодушно моргавшими светлыми глазами. Он в ряде годин Вячеславу Иванову — верил; мне — нет; он в 1904 году лишь поддакивал мысли Флоренского.

— «Значить... Так значить» (не «значит»).

И руку рукою мял.

Был он — безусый, безбрадый, с лицом, как моченое яблоко: одутловатым, с намеком больного румянца; казался аршином складным; знаток первых веков христианства, касался их, резал, как по живому, абстрактными истинами, рубя лапою в воздухе:

— «Значить — тела воскресают!»

Сказавши, конфузясь, — моргал; выступало в лице — голубиное что-то.

Свенцицкий, курносый, упористый, с красным лицом, тербил с красным просверком русую, очень густую бородку, сопя исподлобья; не нравился мне этот красный расплав карих глаз; он меня оттолкнул; как бычок, в своей косо надетой тужурке, бодался вихрами; я думал, что сап и вихры — только поза; а запах невымытых ног — лишь импрессия, чисто моральная.

Вся суть — в Флоренском.

С коричнево-зеленоватым, весьма некрасивым и старообразным лицом, угловатым носатиком сел он в кресло, как будто прикован к носкам зорким взором; он еле спадающим лепетом в нос, с увлекательной остротой заговорил об идеях отца, ему близких. Это он, по всей вероятности, и явился инициатором захода ко мне: трех друзей; только он интересовался тогда новым искусством; и его понимал; Эрн в эти годы был туговат на понимание красоты; у Свенцицкого были пошловатые вкусы; и кроме того: Флоренский же мог интересоваться мною и как сыном отца: он ценил идеи отца.

По мере того, как я слушал его, он меня побеждал: умирающим голосом; он лепетал о моделях для «эн» измерений, которые вылепил Карл Вейерштрасс<sup>5</sup>, и о том, что-де есть бесконечность дурная, по Гегелю, и бесконечность конечная, математика Георга Кантора<sup>6</sup>; вспомнилось что-то знакомое: из детских книжек; падающий голос, улыбочка, грустно-испуганная; тонкий, ломкий какой-то, больной интеллект, не летающий, а тихо ползущий, с хвостом, убегающим за горизонты истории; зарисовать бы Флоренского египетским контуром; около ног его — пририсовать крокодила!

И вот он поднялся; прощаясь, стоял, привязавши свои неразглядные глазки к носкам, точно падая, с гиератическим сломом руки, в старом, в косо сидящем студенческом мятом своем сюртучке, свесив пенснейную ленту; тень носа, с аршин, — под ногами лежала: хвостом крокодила.

Разговаривал я только с Флоренским; Свенцицкий и Эрн, как показалось, не доверяли мне; Эрн ясно покашливал с подозрением; с тех пор они появлялись; однажды опять явились втроем и передали в подарок мне великолепную фотографию Новодевичьего монастыря в знак того, что здесь могила моего отца<sup>7</sup>; и этим растрогали. С тех пор приходил только Флоренский, он заинтересовал меня идеями математика и философа Вронского<sup>8</sup>.

Арена встреч с «тройкой» — открытая секция «Истории религий» (при Трубецком): заседания происходили в университете; тогдашнее ядро — три «Аякса»<sup>9</sup>, бородатый Галанин<sup>10</sup>, два Сыроечковских<sup>11</sup>, А. Хренников<sup>12</sup>, несколько диких эсеров, с проблемой мучительного «бить — не бить», анархисты толстовствующие, ставшие богохвалителями, или богохвалители, ставшие с бомбою в умственной позе, посадские академисты из самораздвоенных, кучка курсисток Герье<sup>13</sup>; председательствовал С. А. Котляревский<sup>14</sup>, еще писавший свой труд «Ламенэ»; появлялись Койранские<sup>15</sup>, «грифики»<sup>16</sup>; да «аргонавты» ходили: сражаться с теологами.

Заседания эти связались мне с осенью.

Мерзлые, первооктябрьские дни: все серело; и — падало, падало, падало; каплями — в стекла оконные, в душу; и что-то как взмаливалось; и, бессильно барахтаясь в падавшем времени, — падало в сердце.

Я шел Моховой, заседать со Свенцицким, — в унылейшей комнате, туго набитой тужурками, взбитыми мрачно вихрами властных студентов с проблемой («бить или не бить»), где Свенцицкий учился показывать пиротехнический фокус с огнем, низводимым им с неба, — в ответ на проблему: ходить с бомбой на генерал-губернатора или — не ходить?

И Свенцицкий вещал:

— «Эта бомба — небесный огонь, низводимый пророками, соединившими веру первохристианских отцов с протестующим радикализмом Герцена!»

Он-де высечет небесный огонь!

Свою лабораторию с взрывчатым «порохом» он перенес в заседания секций; опыты с самогипнозом, с гипнозом ближайших, ему поверивших, грубо проделывал он, сидя, бывало, при Эрне, сопя, с озверевшим от напряжения лицом; точно печь Даниила<sup>17</sup>, пылали глаза, став дико, кроваво блистающими; бывало, переводит их на Бориса Сыроечковского, на Котляревского или на меня, чтобы привести нас в каталептическое состояние (что он пытался гипнотизировать, для меня стало фактом); бывало, как тарарахнет по нервам: картавыми рявками; он ожидает наития; а — запах от ног.

Курсистки же — в священном восторге!

Докладчик, бывало, кончает, — Свенцицкий взлетит; и, бодаясь мохрами, как забзыривший бык или хлыст, вопия, рубя воздух рукой, прикартавливая и захлебываясь, из усов ротяное отверстие кажет, пылая губами кровавыми, как у вампира; и нас уверяет: явление дамасского света и молния, которою Петр уничтожил Ананию, — с ним-де; Котляревский, похожий на сатира, просто не знает, что делать: полуусмехаясь, обводит он нас, бывало, сконфуженным, вопросительным взглядом.

Мне — тошно; рявк Свенцицкого действует на меня чисто физически, как удар гонга, которым Шарко<sup>18</sup> оперировал, вызывая у пациентов столбняк: часть аудитории, бывало, тупо балдеет: восторгом.

Часть — плюется:

— «Сомнительный шарлатан!»

Он же валится, красный и потный; хватаясь рукой волосатую (красная шерсть) за измятую грудь, он терзает тужурку; не зна-

ешь: валиться ли с ног, стакан ли с водою ему тащить или... бить его.

После его выступления поднимается болезненный Эрн — длинный, брысый, белясый; рукою рубил, выколачивая, точно палкою в лбы, тупым голосом пресные ясности о чудесах и явлениях-знамениях в первых веках христианства, пытаюсь по Трубецкому связать с евангельской критикой; он — переводчик «*святых вопияний*» Свенцицкого на «ясный» язык; тот — пророк; этот только «*дидаскалол от Валентина*»<sup>19</sup>; он в эти минуты казался мне типичным «энесом»<sup>20</sup>, народным учителем: где-нибудь в дальнем медвежьем углу.

Рядом с Эрном с коричнево-зеленоватым лицом, некрасивый и старообразный, брезгливо подавленный громом Свенцицкого, П. А. Флоренский — замумифицирован в кресле; прикован невидными глазиками к сапогу; точно Гоголь, кивающий носом над пеплом своих «Мертвых душ»: души мертвые — Эрн и Свенцицкий; Эрн — благообразно почивший до смерти; Свенцицкий — в смердящих конвульсиях, заживо точно червями точимый. Флоренский в ответ им говорил умирающим голосом, странно сутулясь и видясь надгробною фигурою, где-то в песках провисевшей немой барельефом века и вдруг дар слова обретшей; его слова, маловнятные от нагруженности аритмологией<sup>21</sup>, как ручеек иссякающий: в песке пустынь; он, бывало, отговорив, садится — зеленый и тощий; фигурка его вдвое меньше действительной величины, оттого что — сутулился, валился, точно под ноги себе, как в гробницу, в которой он зажил с комфортом, прижизненно переменяя знаки «минус» на «плюс», «плюс» на «минус»; мне казалось порой, что и в гробах самоварик ставил бы он; и ходил оттуда в «Весы»: распевать пред обложками, изображающими голых дам, — «со святыми рабынь упокой!».

Я в «Весях» позднее заставлял его с Брюсовым; он разговаривал, странно сутулясь, скосясь, поясняя гнусавым, себе самому подпевающим, но замирающим голосом какой-нибудь штрих: деталь гравюры четырнадцатого столетия, что-нибудь вроде рисунка Кунрата<sup>22</sup> со скромною надписью: «*Ora et labora*»<sup>23</sup>. И Брюсов почтительно слушал скорей аритмолога, перепротонченного в декадента, чем мистика или философа религиозного: снова казалось, что он — мемфисский полубарельеф, со следами коричнево-желтой и зеленоватой раскраски облупленной; выйдя из серо-желтязового камня, шел медленно, в тысячелетиях, тысячи верст, чтобы предстать из Мемфиса в доме «Метрополь», где весело так приютились «Весы», из Мемфиса, а может быть, из Атлантиды, явился он: поразговаривать о нарастании в XX столетии: египетских смыслов.

С тех пор он являлся ко мне, избегая моих воскресений, — как крадучись; в тайном напуге, не глядя в глаза, лепетал удивительно: оригинальные мысли его во мне жили; любил он говорить о теории знания; и укреплял во мне мысль о критической значимости символизма; что казалось далеким ближайшим товарищам — Блоку, Иванову, Брюсову и Мережковскому, — то ему виделось азбукой; мысль же его о растущем, о пухнущем, точно зерно, разбухающем многозернистом аритмологическом смысле питала меня, примиряя с отцовскими мыслями мысль символизма.

Студент Флоренский — про математика Эйлера<sup>24</sup>; а тень длинноногая, вытянутая от его сапога, — про другое, свое, очень древнее; и начинало казаться, что будет день: *тьень* — сядет в кресло; Флоренский — уляжется: под ноги ей.

А с Валентином Свенцицким мы мало видались вдвоем; Валентина Свенцицкого, признаюсь, — бегал я: пот, сап, поза «огня в глазах», вздерг, неопрятность, власатая лапа, картавый басок — все вызывало во мне почти отвращенье физическое; где-то чуялся жалкий больной шарлатан и эротик, себя растравляющий выпыхом: пота кровавого, флагеллантизма<sup>25</sup>; срывал же он аплодисменты уже; бросал в обморок оголтелых девиц; даже организовал диспут; на нем он, как опытный шулер, имеющий крап на руках, — бил за «батюшкой» «батюшку»; крап — тон пророка: тащили в собрание приходского «батюшку»; тот, перепуганный, рот разевал: никогда еще в жизни не видывал он Самуила<sup>26</sup>, его уличающего в том, что «батюшка» служит в полиции; пойманный на примитивнейшем либерализме, «батюшка», ошарашенный, с испугу левел.

— «Слушайте, слушайте», — мрачно шептались вчерашние богохулители: Гамлеты с «бить иль не бить»... губернатора.

И тогда с бычьим рывком Свенцицкий взлетал; и кровавые очи втыкал в «священную жертву»; и механикой трех-двух для «батюшки» ехидных вопросов, изученных перед зеркалом, «батюшке» «*мат*» делал он; мат заключался в прижатии к стенке; и в громоподобном рыкании: к аудитории:

— «Видите, отец Владимир Востоков отрекся от Бога!»

— Нет — я не за «батюшку»; я — против шулерства; в эти минуты воняло так явственно: от Валентина Свенцицкого!

Раз попытался он со мною откровенничать, неожиданно похвалив мое стихотворение «Не тот», которого тема — разуверенье в себе; и в связи со стихотворением заговорил о себе самом, посапывая и дергая себя за рывеватый ус:

— «Иной раз такое переживаешь, что...» — усмехнулся он: и — нехорошо усмехнулся! Махнул рукою, дав понять, что имеет какие-то им тайные от всех, «свои собственные» переживания.

И я подумал:

— «Этот “пророк” еще покажет себя!»

Он действительно себя показал.

Пока же вера в «пророка» Свенцицкого начинала расти: он был «kozyрем» по женским курсам, студентам, стареющим барынькам, ветеринарам, и преподавателям даже: взяв в шуйцу как бы динамитную бомбу, в десницу взяв крест, их скрещал, как скрещает *дикирий с трикирием*<sup>27</sup> золотоглавый епископ; слияние бомбы с крестом — личный-де опыт его; с бомбою он стоял-де, кого-то подкарауливая; не мог бросить-де: ему-де открылось, как Савлу, что бомбой небесной пора убивать губернаторов; так видение бомбы, спадающей с неба молитвами нашими, он проповедовал. Кроме того: в Македонию ездил-де: вместе с повстанцами ниспровергать падишаха<sup>28</sup>; и — как провожали!

Уехал же... куда-то в русскую провинцию; там мрачно скрывался; и вернулся в Москву; его встретили с благоговением: освобождал македонцев!

Да, злая судьба на смех выкинула звероватого вида больного, бросавшего в обморок диких девиц, извлекавшего у бородатых, почтенных, седых, уже виды выдавших общественников суеверные шепоты.

Флоренский уже тогда не сочувствовал своим друзьям, Свенцицкому и Эрну; но он таился; вообще в те годы он не слишком много распространялся на различные темы; росла слава — Свенцицкого; Флоренский как бы сел в тень; из теневого угла своего вытягивался длинный нос его; и раздавались мудренейшие рассуждения о математике и о символизме. Скоро он перестал меня посещать, на что-то обидевшись; в «Новом пути» напечатал он сочувственную рецензию о моей «Северной симфонии»<sup>29</sup>; потом я встречал его только издали; скоро он отпустил длинные кудри; и когда молча сидел позднее на религиозно-философских заседаниях, то выглядывал перепуганный из кудрей чем-то его нос; мы его называли в те дни: «Нос в кудрях». Кличка придумана, разумеется, Эллисом<sup>30</sup>.

Скоро он вовсе скрылся в Сергиевом Посаде.

